

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВ-СИМВОЛОВ «СВЕТ-ТЬМА», «ВОДА» И «ЗЕМЛЯ» В ПОЭТИКО-ФИЛОСОФСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРОЗЫ С. Н. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО (РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЭПОПЕЯ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ»)

Л. Е. Хворова

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина

Поступила в редакцию 4 августа 2017 г.

Аннотация: в статье в культурно-аксиологической парадигме русской литературы — православно-христианской системе координат предпринимается попытка осмысления поэтико-философского пространства прозы С. Н. Сергеева-Ценского, начавшего свой творческий путь в период, который принято называть «Серебряным веком», а завершившего в конце пятидесятих годов XX столетия. Исследуется практически все его творчество как целостный духовно-культурный феномен, в котором обозначенные образы-символы всегда играли ведущую как содержательную, так и формообразующую роль и определяли своеобразный, несравнимый художественный почерк этого писателя, как оригинального, самобытного художника слова.

Ключевые слова: эпопея; культурно-аксиологическая парадигма; поэма; роман; цикл романов и повестей; образы-символы; свет; тьма; вода; земля; поэтико-философское пространство; топос; мир-война; духовная апостасия.

Abstract: in the article of cultural-axiological paradigm of Russian literature — the Orthodox Christian system of coordinates an attempt is made to comprehend the poetic-philosophical space of Prose S. N. Sergeev-Tsensky, who began his career in the period that is commonly called the “Silver Century”, and completed in the late fifties of the twentieth century. Virtually almost of his work as an integral spiritual and cultural phenomenon is studied, in which the images — symbols always played the leading role as a content and form-forming role and determined the idiosyncratic, incomparable artistic handwriting of this writer just like an original artist of the word.

Keywords: epic; cultural-axiological paradigm; poem; novel; cycle of novels and novels; images — symbols; light; dark; water; earth; poetic-philosophical space; topos; world war; spiritual apostasy.

В «Преображении России» (1913—1958), представляющей собой грандиозный цикл романов и повестей, одной из ключевых фраз является следующее высказывание о России, произнесенное инженером Матийцевым (роман «Преображение человека») о том, что всего в России вдоволь, а страна нищая.

Процесс как духовного разорения, так и социальной неустроенности щемит душу писателя, и он пишет предэпопейную поэму в прозе «великой печали» — «Печаль полей». Читательские и критические отзывы о ней обычно сводятся к восторгам и умилению по поводу того, как любил писатель свою малую родину, как талантливо смог выразить эту любовь, мастерски владея художественным словом. Действительно, язык поэмы великолепен. Но придется возразить умиленным сентименталистам: поэма Ценского — сложный полифоничный жанр. Это своего рода реквием скорби о заброшенной земле, о том, что «поля плачут». Не может родить женщина, не рожает и земля. Те, кто издревле на ней работал, теперь бродят и топчут ее, ища какую-то пресловутую социальную правду, погрязнув при этом в братоубийственных спорах и бестолковых склоках.

В «Печали полей» есть два ключевых высказывания, предвосхищающих художественно-философский смысл всей эпопеи в целом, логично переходящий в поэму «Валя», затем — в роман «Преображение человека» и, наконец, в дилогию «Искать, всегда искать!», непосредственно — во вторую ее часть — «Загадка кокса». Это — «симфониобразный», полифонично выраженный «голос автора» и слова, вложенные в уста одного из героев.

Один из персонажей говорит: «Жалости ни к кому не чувствую — вот мой грех. Теперь я остался один: без жалости человек уж совсем один... Что ветер, что я... так мы и гоняемся друг за дружкой... Душут (...), придет враг и вынет... Жалость вынул, теперь уж кончено...» [1].

Автор полифонически соединяет в молитве такие символично-образные понятия, как Земля, Вера, Любовь, Детство. Важнейшее нравственно-этическое значение имеет припадание к земле. Основную идею, берущую начало из поэмы «Валя» и проходящую через всю эпопею в целом вплоть до последнего ее «аккорда» — четвертого цикла романов и повестей, можно осознать, опираясь на высказывание В. С. Соловьева, рассуждающего, конечно, не о творчестве Сергеева-Ценского, а о том, чем был болен весь на-

род. Неверующие двигатели новейшего прогресса «не могли обидеть Христа своим неверием, — писал он, — но они обидели ту самую материальную природу, во имя которой многие из них действовали. (...) и вот, как бы обиженная этой двойной ложью, земная природа отказывается кормить человечество. Вот общая опасность, которая должна соединить и верующих, и неверующих. И тем, и другим пора признать и осуществить свою солидарность с матерью-землею, спасти от омертвения. Но какая же может быть у нас солидарность с землею, какое нравственное отношение к ней, когда у нас нет этой солидарности, этого нравственного отношения между собою?» [2]

Личность для Сергеева-Ценского — синтез природного и человеческого. В раннем романе «Бабаев», необыкновенно популярном в эпоху серебряного века, когда он был опубликован, читаем: «В мягкой воде чувствовал Бабаев все свое тело — молодое, цельное, гибкое. Он был одно это тело: не думал, — думало оно. Посылало вперед руки — и руки сами, шутя, хлопали по воде, прежде чем прорезать ее упруго; отталкивалось ногами сзади, размеренно дышало. В воде отражались лес и небо, и солнце, и он был в них, в середине, весь родной этим красочным струящимся пятнам, поцелуям лучей и взмаху неба, весь — солнце, вода, лес, весь недосказанное и смутное и в то же время понятное и простое» [1, т. 1, с. 482]. Такое сращение природного и человеческого — в духе библейского повествования о Сотворении мира: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни; и стал человек душою живою» (Быт., 2, 7). Это утверждение повторяется во многих главах Ветхого и Нового Заветов. В Толковой Библии подчеркивается (и эта мысль воплощена в эпосе Сергеева-Ценского), что «В создании тела человека из земной персти заключена идея о сродстве человека со всей видимой природой, ближайшим образом с животным царством, возникшим по творческому мановению из той же самой земли». Однако невозможность найти некое «серединное» равновесие между «земным» и «небесным» являлась трагедией, далеко не всегда осознаваемой: «Внизу было тихо, темно и душно, а сверху быстро мчались светлокрайние облака, было широко и свободно. И не было никакой связи между темной землей и светлым небом» [1, т. 1, с. 482]. Иными словами, человек не является связующим звеном между Богом и землей. В человеке, живущем лишь по законам природы, отсутствует осознание ценности, величия человеческой личности, и это явление предвещает трагизм.

Отсутствие синтетического единства духовного и материального создает в эпосе как бы два параллельных топоса, соединение которых уже, кажется, и недостижимо — это топос земного, голубого, и блеклого, искусственно созданного городскими

красками. «Христианство пустыни» и «язычество города» — трагедия их несоединимости — лейтмотивно проходит не только через эпопею, но и в целом творчество Сергеева-Ценского, начиная с рассказа «Батенька». Ключевая фраза, произнесенная в «Вале», — «где еще и обманывать, как не в большом городе?» — создает уже в этом, первом романе, два несоединимых пространства, и они трагически раскалывают, разбивают душу людей. Не привыкшие работать на земле, прыгающие по ней, словно воробьи, они — всего лишь дачники, млеющие под жарким южным солнцем (не случайно и действие происходит в дачной местности). Подспудно они цепляются за какие-то остатки веры, еще теплящиеся в них, мерцающие, словно розовая лампадка, в душе Натальи Львовны. Давно уже прочно укоренилось в сознании местных дельцов, что земля и все, что она производит — «доход, а деньги — мелочь». То, что «земля мстит, если от нее отвернешься», понимали здесь далеко не все. Одних одолевал практицизм, другие, не умеющие и не любящие на ней работать, не обладая при этом и качествами прагматиков, страдали от духовной опустошенности. Величие созидательной работы на земле, по мысли автора, состоит прежде всего в том, чтобы «терзать землю», как ребенок, который, «чавкая, сосет грудь матери».

Художественно-философские размышления Сергеева-Ценского восходят к традиционному единству в этом вопросе русских классиков. Так, по мысли Достоевского, «по русскому, основному, самородному понятию, не может быть русского человека без общего права на землю» [3]. «Самородное» понятие — это не просто «купля-продажа», а отдача в собственность тому, кто на ней трудится, кто не представляет себе жизни без нее. Отрыв от земли в пореформенной России порождал всеобщее, тотальное увлечение вопросами материального благополучия. Сергеев-Ценский, как и его предшественники Достоевский, Лесков, Гончаров, наблюдал несоединимость в российских условиях буржуазной морали и христианской нравственности. Лепетовы, полезновы, макухины на страницах «Преображения...» — как бы реализовавшееся воплощение размышлений Ф. М. Достоевского: «Уничтожьте у нас общину, и народ тотчас же будет у нас развращен в одно поколение, и одно поколение доставит собой материал для проповеди социализму и коммунизму. Например, мы легкомысленнейшим образом проповедуем уничтожение общины, одного из самых оригинальных и существенных отличий сути народа. Про общинное землевладение всякий толковал, всем известно, сколько в нем помехи экономическому хотя бы только развитию; в то же время не лежит ли в нем зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального... что у нас лишь одних есть в зародыше и что у нас одних может сбыться, потому что явится не войною и не бунтом, а опять-таки великим и всеобщим согласием» [3, 63].

Отторжение от земли породило целую галерею «деградирующих типов». Ценским создана целая галерея так называемых «новых» людей, о каких выразительно высказался Н. А. Бердяев: «...появились новые лица, раньше не встречавшиеся в русском народе. Появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц. Это были лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные и активные (...). Новый антропологический тип вышел из войны» в «стихии большевистской революции» [4].

Лейтмотив «безмолвия и печали полей» имеет место и в военном романе «Лютая зима». Война — это и унылость заброшенных полей на фоне гнетущих душу военных неудач: «удручающее безмолвие полей особенно чувствовалось, когда солдаты переставали орать спасительные по своей бессмысленности песни» [1, т. 10, с. 513]. Земля в художественном топосе этого романа «пустынна», «растоптана сотнями тысяч войск, вконец ограбленная войною» [1, т. 10, с. 529]. Уже не только земля, но и «люди на ней — товар» [1, т. 10, с. 531.]

Критические отзывы о романе «Зауряд-полк» в середине тридцатых годов, в период его издания, были резко негативные. Так, отмечая поиски Ливенцевым «связи человека и земли», Е. Усиевич называла их «упражнениями в декадентской стилистике» [5]. Между тем связь с землей для Ливенцева «выше обычных представлений о жизни и смерти».

Семантическое противопоставление Света и Тьмы, солнца и луны — света истинного и ложного проходит сквозь всю эпопею.

Разоблачая «двойничество» человеческого характера, Сергеев-Ценский видит в этом явлении борьбу двух начал — праведного и греховного, и это ассоциируется с «обманчивым» и «праведным» светом. Одна половина человека — «темная, ночная», вторая — «светлая, дневная», — читаем в «Вале». Решение о самоубийстве Матийцев принимает ночью [1, т. 8, с. 369], а солнечный луч, напротив, сопровождает «воскресение» героя [1, т. 8, с. 449].

Развитие духовной апостасии ставится в прямую зависимость от развития научно-технического прогресса. Подготовку к войне, которая велась всеми странами, сопровождает «мертвенный лунный свет электрических ламп» [1, т. 9, с. 218].

Сущность вопроса для Сергеева-Ценского состоит главным образом в том, насколько глубоко человек может впустить в свой духовный мир «ночное», темное начало, отказавшись от «дневного» — внутреннего сопротивления, от борьбы с самим собою. Центральной в этом аспекте нам видится повесть «Пристав Дерябин». Восприятие и познание Кашневым монументальной фигуры пристава происходит в ночное время. Между тем безблагодатное, заблудившееся сознание этого человека, несмотря

ни на что, стремится к свету. Именно в его уста автор вкладывает высказывания о необходимости глубоко нравственной и стойкой власти в России, о пагубности всеобщего и бездумного поклонения западному образу жизни Дерябин признается Кашневу в своем непонимании чего-то главного в жизни, и это очень важно.

Вполне по-христиански воспринимаются размышления Кашнева, который «понял всем телом»: если бы в момент избияния солдат один из них, державший винтовку, «как вилы, невзначай не удержал бы в себе человека, ушел бы из него человек» [1, т. 1, с. 401]. Не пассивное смирение, покорность, как принято считать, — важнейшие критерии православного самоопределения, а стремление к внутреннему противостоянию, к духовной гармонии в самом себе, к сохранению человеческого, а вслед за ним и общегосударственного, национального достоинства. Повесть композиционно выстраивается на игре света и тени. Именно ночью обнажаются все дурные стороны этого «хрупкого гиганта». Утро, напротив, «свело пристава, как темноту, куда-то сдувало его, — схлынул пристав»; «чем дальше в утро шел Кашнев, тем меньше оставалось Дерябина». «Днем ночь смешна» [1, т. 1, с. 401], — итожит автор.

Одной из ключевых в эпопее является вполне законченная и относительно самостоятельная глава «Затмение» («Пушки выдвигают»). Однажды это явление уже приносило несчастье — вспомним «Слово о полку Игореве». Однако тогда путь Игоря привел его к покаянию, в храм Богородицы. Повесть об Игоровом походе, кажется, присутствовала в художественной памяти С. Н. Сергеева-Ценского в процессе его работы, в частности, над этим романом. Извлекло ли, по мнению писателя, человечество и прежде всего россияне уроки, которые продемонстрировало это мудрейшее произведение? Нет. И опять в общественном сознании народа имеют место греховные героические установки. Страну ожидают страшные трагедии; именно в России, на юге, его можно было наблюдать в полном виде.

Понятие «затмение» у Сергеева-Ценского многозначно. Композиционно именно эта глава поворачивает повествование вплотную к войне. Для писателя — это не только явление природы, но и всеобщее, вселенское затмение духа. Это и безрассудные забастовки, распространившиеся по всей стране, зачастую сопровождающиеся и хулиганскими выходками, и всеобщее нежелание каким-то образом попытаться остановить тяжелые шаги всевропейской войны; это и фигура Распутина, зачаровавшая царя и его семью; это, наконец, нездоровый, нелепый ажиотаж, поднятый вокруг злополучного феномена.

Принципиально важно обратить внимание и на композиционное выстраивание глав романов «Пушки выдвигают» и «Пушки заговорили». Число «семь», если вспомнить его библейское значение, священно

и для Сергеева-Ценского. Привыкший вести художественное время в соответствии с православно-христианским календарем, он и жизнь в целом отсчитывал по «седмицам». В эпопее понятие «семь» семантически находится в плоскости контрастного эффекта. Так, в повести «Львы и солнце» именно в седьмой главе проливается первая кровь, которую несет за собою февральская революция. Явление солнечного затмения описано в шестой главе романа «Пушки выдвигают». Но война уже фактически началась. А где же соборный молебен? Описание его Сергеев-Ценский дает в седьмой главе. Но — следующего романа, когда уже «пушки заговорили». Есть молебен, но нет соборного единства народа с царем; это не всеобщий молебен, а демонстрация: народ специально зазывается и смотрит на своего царя скорее с любопытством, нежели с искренней любовью. Священное действо — молебен — «опоздал». Когда «говорят» пушки, включается совершенно иная логика, и многие действия выглядят ненужными. Это — один аспект. С другой стороны, автор лейтмотивно подчеркивает, что единства между Царем и народом не просто нет — народ не видит как бы «Царя в царя» — но он и крайне непопулярен, не является, говоря современным языком, «лидером» нации.

Контраст создает глубокий философский подтекст как эпопее в целом, так и отдельным романам. Значимо упоминание двух важнейших духовных праздников — Рождества («Лютая зима») и Пасхи («Бурная весна»). В первом случае «день русского Рождества — 25 декабря (...) стал днем смерти всех розовых надежд на быструю и решительную победу на галицийском фронте и грандиозных планов генерал-адъютанта Иванова непреодолимым маршем четырех объединенных армий дойти до вождельных берегов Дуная и этим маршем закончить победоносную войну» [1, т. 10, с. 638]. Во втором — детское воспоминание Ливенцевым праздника Светлого Христова Воскресения резко контрастирует с «щемящим душу» празднованием его же на фронте, «где все пытались притвориться праздничными»; «и то, что пелось в церквах утром «Братие! и ненавидящим нас простим» там же, в церквах, и осталось» [1, т. 11, с. 118]. Военные действия не только не останавливаются на момент этих крупных великих праздников, но и планируются крупные наступательные операции. Страна горько расплачивается за гордые героические установки своих «блудных» сынов.

Эпизодически появившись в «Вале» и «Приставе Дерябине», начиная с романа «Пушки выдвигают» «колдовской лунный свет» будет постоянно сопровождать художественный топос эпопеи. Мчавшиеся с запада на восток облака также сопровождались «ущербным лунным светом» и предвещали скорую российскую катастрофу [1, т. 10, с. 505]. Военные события для российской армии складывались в этот период войны («Лютая зима») крайне тяжело.

«Ущербный лунный свет» (это лейтмотив в названном романе) в воображении военных предвещает внезапное нападение австрийцев. Ночной свет, сопровождающийся луной, до неузнаваемости изменял все, к чему привыкали глаза в дневное время [1, т. 10, с. 692].

Бинарность восприятия русским сознанием явлений жизни очевидна и в своеобразии противопоставления света и тени. Так, революция для Ценского, кроме всего прочего, это еще и стихия необузданных и нерастраченных народных сил, и в ней, как и во всякой природной круговерти, выносятся на поверхность все самое грязное, болезненное, надоевшее. Революцию в художественном топосе эпопеи сопровождает слишком яркое солнце. На фоне всеобщего ослепления падает в пропасть и Россия («Капитан Коняев»).

Блуждания героя повести «Львы и солнце» Ивана Ионыча Полезна сопровождаются «чеканящее солнце» [1, т. 12, с. 118]. Его всеослепляющий свет дезориентирует общественное сознание; на улицах Петербурга-Петрограда — дикая, орущая гудящая толпа, сметающая все на своем пути. Герой гибнет, затоптанный львами не только и прежде всего не физически, а сначала теряет все, что у него, кажется, было: семью — жену застает с любовником, а сперва, вероятно, и самого себя, превратившего свою жизнь в откровенную куплю-продажу. И вот он бредет непонятно куда, затерянный в пространстве между Петроградом и его окрестностями, и в конце концов как бы «растворяется» во всеобщем оглушительном шуме революции.

Вопреки канонам православной этики, важнейшим критерием которой является тишина, революция на улицах, «осиянных небывалым солнцем, сверкала, дыбилась, пенилась, рокотала, гремела и пела» [1, т. 11, с. 121].

В «Капитане Коняеве» наблюдается очевидная трансформация «святочного рассказа». В литературоведении далеко не всегда выявляются его особенности. «Испытания человека злым духом» (мы, вслед за В. Н. Захаровым, принимаем именно такую идею «святочного рассказа») не выдерживают ни герой, ни Россия. В «Коняеве» все искусственно, что достигается бесконечной игрой контрастных противопоставлений: ослепляющее солнце — размышления о старости; «сплошное движение, яркость и радость» — «война тянется неудержимо, немцы наступают»; ранение и контузия в голову капитана на фоне его «здоровья во всем остальном»; «поток солнца» — «сумеречный мозг капитана»; «святки» — убийство Распутина; «благодарное сияние солнца» — «заброшенность, покинутость, одиночество» Коняева; воспоминания о детстве — отречение царя; «домовитость» Сони, ее воля к жизни — неизбежная смерть; «интернационализация» жизни и в духовном, и в материальном — национализм капитана; потоки «русского, трижды русского» солнца — скатывающаяся в пропасть Россия; неизбежность

смерти и невозможность человека к ней привыкнуть; ослепляющий свет солнца и горестный, одиноко догорающий свет лампадки...

В эпопее пейзаж (или какой-то пейзажный элемент) зачастую «ведет» повествование, создавая определенный эмоциональный колорит. Во второй главе мы дали характеристику жанра поэмы Сергеева-Ценского, где пейзаж выступал в качестве жанрово и смыслообразующего компонентов. Весьма показательным, характеризующим глубину духовной апостасии общественного сознания, является в художественно-поэтической системе писателя топоним болота («Лесная топь»). Вообще-то это даже и не болото, а именно топь — трясины, пропасть, в которую погружено людское сознание. Важным составляющим психологическим компонентом, организующим повествование, служит страх. Мы думаем, что для писателя здесь важна обобщающая мысль, которая не лежит на поверхности, а уходит корнями в подтекст. Если у человека нет стойкой веры как критерия нравственно-этической установки в жизни, он подвержен суеверию. Если человек не любит Бога, он боится его. Не случайно Антонина, героиня «Лесной топи», испугавшись страшного ночного явления, рожденного ее детски неокрепшим воображением, а не реальностью, становится душевнобольной. Нам представляется незримая связь этого произведения с повестью Н. В. Гоголя «Вий», которую любил цитировать С. Н. Сергеев-Ценский и, в частности, то место, где изображена заброшенная церквушка, к которой уже трудно найти дорогу человеку, изгнанному из себя Бога. Если в церкви не спокойно, значит неизбежно — страшно.

Образ тучи на картине «Золотой век» свидетельствует о надвигающейся катастрофе бездуховности: «И над всем (...) туча сырая, насыщенная влагой, — туча, про которую говорят: давит, — так она была тяжка и низка. Туча эта сделана была с большой правдой; она одна могла бы быть картиной. Она почти шевелилась, иссиза-темная, набухая, набрякая, зрея. Должно быть, гремел даже гром, потому что четвертый мужик, снявши шапку, задрал голову и крестился» [1, т. 8, с. 106—107].

Отношение к смерти у Сергеева-Ценского, как и у русских классиков, было спокойным, христианским. Он воспринимал ее неизбежный приход как переход из одного физического состояния в другое. Такое отношение, однако, не мешало пониманию этого необыкновенно сильного по своей художественно-философской идее произведения в христианском аспекте: ребенок болеет, страдает, и это Бог страдает и болеет в нем. Думается, здесь очень уместно привести слова о. Александра Меня, сказанные им

более чем полвека спустя, которые как нельзя лучше помогут понять истинный смысл повести: «...Он присутствует в мире и страдает в каждом из нас. Страдания в мире — это Его страдания. Бог распят в человеческом роде. Это его ответ на наши страдания. Он страдает вместе с нами, с тем, чтобы и нас вывести на свет из тьмы. А малые дети, которые страдают, — это призыв! (...) это вопрос Божий: как мы поступим здесь? Вот это будет настоящий наш ответ. Милосердие — то, к чему мы призываем. Когда самарянин из Христовой притчи проехал по дороге и увидел лежавшего иудея, он не стал философствовать над ним: откуда зло? Не стал спрашивать: «Какого ты рода-племени? Какого ты вероисповедания? Какой у тебя пятый-шестой пункт?», а просто помог ему, и Господь Иисус говорит фарисею: «Иди и ты поступай так же» [6].

Ответ дан писателем в рассказе «Живая вода» (заметим показательное его заглавие). Зло может и должно быть побеждено добротой. Крестьянки спасают своего соотечественника — Федора Титкова, не важно, кто он — большевик или нет. Завершается «Живая вода» всеобщей молитвой — великим покаянием и одновременным ликованием художника по поводу, как ему кажется, наметившегося возрождения человеческой души: «И до того неожиданно это было, и до того чудесно это было, и так перевернуло это души, что не устояли бабы на ногах и повалились одна за другой пред коляской молитвенно и бездумно» [1, т. 2, с. 117].

Оставлен открытым и финал эпопеи («Весна в Крыму» и «Свидание»). Настрадавшиеся герои встречаются друг с другом, и этот мотив, кажется, вселяет надежду на их духовное возрождение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сергеев-Ценский С. Н. Собрание сочинений в 12-ти томах. М.: Правда, 1976. — Т. 1. — С. 564. Далее цитируется это издание с указанием тома и страницы в тексте.
2. Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве // Соловьев В. С. Сочинения. — М., 1994. — С. 196.
3. Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Избранные страницы / Ф. М. Достоевский. — М., 1989. — С. 57.
4. Бердяев Н. А. Сочинения / Н. А. Бердяев. — Т. 5. Христианское изд-во, 1997. — С. 214.
5. Усиевич Е. О Сергееве-Ценском / Е. Усиевич // Усиевич Е. Писатели и действительность. — М.: Худож. лит., 1936. — С. 169.
6. Мень А. История религии. В поисках Пути, Истины и жизни / А. Мень. — В 7-ми томах. — М., 1991—92. — Т. 2. — С. 59.